

## Понедельник

**К**отенок, я так рада тебя слышать! — сказала ей мать по телефону. — Ты знаешь, тело опять меня подводит. Порой мне кажется, вся моя жизнь — одна долгая, многоэтапная измена тела.

— Разве не всякая жизнь так устроена? — откликнулась Пип. Она завела привычку звонить матери посреди обеденного перерыва. Это помогало хоть ненадолго избавиться от чувства, что она не годна к этой работе, что к работе в “Возобновляемых решениях” ни один человек не годен — или, наоборот, что все дело в ней самой, что ей ни одна работа не подойдет; проговорив минут двадцать, она могла, не кривя душой, сказать матери, что ей пора возвращаться к делам.

— Левое веко вниз тянет, — объяснила мать. — Как будто к нему грузик подвешен, грузило на тоненькой леске.

— Прямо сейчас?

— То потянет, то отпустит. Начинаю бояться: может быть, это паралич Белла?

— Не знаю, что такое паралич Белла, но это точно не он.

— Как ты можешь быть уверена, котенок, если даже не знаешь, что это такое?

— Ну... ведь у тебя уже “была” болезнь Грейвса? Потом гипертиреоз? И меланома?

Не то чтобы Пип нравилось высмеивать маму с ее болячками, но любой их разговор был чреват “моральным риском” — этот весьма полезный термин девушка усвоила, когда изучала в колледже экономику. В материнской экономике она была чем-то вроде очень крупного банка, чье банкротство совершенно недопустимо, или ценнейшим сотрудником, которого невозможно уволить за нахальство, потому что без него не обойтись. Кое у кого из оклендских подруг тоже были непростые родители, но все же каждой из них удавалось поддерживать с родителями ежедневное общение без неподобающих странностей, потому что даже в самом трудном случае дочь не была для старшего поколения, как Пип для ее матери, единственным светом в окошке.

— Мне кажется, я не смогу сегодня пойти на работу, — сказала мать. — Мне только медитация дает для нее силы, а никакой медитации толком не получится, когда веко тянет вниз *невидимое грузило*.

— Мама, ты не можешь снова сказать больно. Еще даже июль не наступил. А если потом и правда заболеешь каким-нибудь гриппом?

— И пусть все удивляются: что это за старуха пакует их закупки, а у самой пол-лица до плеча свисает? Как же я завидую твоему личному отсеку в офисе, ты себе не представляешь. Твоей невидимости.

— Вот уж отсек идеализировать не стоит, — заметила Пип.

— Самое ужасное в телах именно это — их видимость. Они очень *видимы*, очень.

Нет, мать Пип не была сумасшедшей, хоть и страдала хронической депрессией. На должности кассирши супермаркета в Фелтоне, торговавшего натуральными продуктами, она держалась уже десять лет с лишним, и Пип прекрасно могла уследить, о чем мать говорит и почему, если отказывалась на время от собственного образа мыслей и подчинялась материнскому. На серых стенках офисного отсека Пип имелось единственное украшение — наклейка на бампер: ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ

С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ВОЙНА ИДЕТ ХОРОШО. Другие сотрудники оклеили свои отсеки фотографиями и вырезками из журналов, но Пип, подобно ее матери, чувствовала притягательную силу невидимости. К тому же стоит ли вить гнездышко, если тебя не сегодня завтра уволят?

— Ты уже думала, как мы *не будем* праздновать *твой день*? — напомнила она матери.

— Честно говоря, я бы весь этот день провела в постели, укрывшись с головой. Я и без него прекрасно помню, что старею и старею. Мое веко очень хорошо мне об этом напоминает.

— Давай я сделаю торт, приеду, и съедем его вместе. Ты что-то сегодня совсем мрачная.

— Увижу тебя — не буду мрачной.

— Гм... Жаль, что меня не продают в таблетках. Торт со стевией<sup>1</sup> подойдет?

— Не знаю. Химия моей слюны на стевию реагирует как-то странно. Вкусовые бугорки, по моему опыту, не так легко обмануть.

— Сахар тоже дает послевкусие, — заметила Пип, хоть и понимала, что шансов выиграть спор у нее нет.

— Сахар дает *кислое* послевкусие, с которым у вкусового бугорка проблем не возникает: он так устроен, что сообщает о кислом, но не сосредоточивается на нем. Не сигнализирует пять часов подряд: странно, странно! Как было в тот единственный раз, когда я выпила что-то со стевией.

— Кислый привкус все-таки тоже не сразу исчезает.

— Это никуда не годится, если бугорки все еще чувствуют странность через пять часов после того, как выпьешь подслащенный напиток. Ты слыхала, что стоит один-единственный раз покурить метамфетамин, и вся химия мозга изменится до конца твоих дней? Вот о чем мне напомнил вкус стевии.

— Я тут не балуюсь метом, если ты на это намекаешь.

— Я намекаю, что никакого торта мне не нужно.

1 *Стевия* — многолетнее растение. Используется как сахарозаменитель.

— Ладно, придумаю другой торт. Прости, что предложила тебе *отраву*.

— Я не говорила, что это отрава. Просто стевия как-то странно действует...

— ... на химию твоей слюны, поняла.

— Котенок, я буду есть любой торт, какой ты привезешь, от ложки рафинированного сахара я не умру. Я не хотела тебя огорчить. Ну пожалуйста, хорошая моя!

Звонок нельзя было считать завершенным, пока они друг друга не изведут. С точки зрения Пип, проблема — то, что скрывало ее, глубинная причина, по которой она ни в чем не могла достичь результата, — заключалась вот в чем: она любила маму. Жалела ее, страдала с ней на пару, телом отзывалась на звук ее голоса, испытывала асексуальную, но выводящую из равновесия физическую тягу к ней, тревожилась даже о химии ее слюны, хотела видеть ее более счастливой, терпеть не могла ее расстраивать, находила ее милой. Это был массивный кусок гранита посреди ее жизни — источник сарказма и злости, которые она направляла не только на мать, но и на менее подходящие объекты, причем в последнее время со все более скверными последствиями для себя. Когда Пип злилась, то не на мать на самом деле, а на этот гранитный блок.

Ей было восемь или девять, когда она додумалась спросить, почему в их маленьком домике под секвойями поблизости от Фелтона празднуется только ее день рождения. Мама ответила, что у нее, у мамы, дня рождения нет, что ей важен только день рождения Пип. Но Пип не отставала, пока мама не согласилась считать “своим днем” летнее солнцестояние и отмечать его тортиком. После этого естественным порядком возник и вопрос о маминном возрасте, на который она отвечать отказалась, лишь сообщив с улыбкой дзэнского наставника, произносящего коан:

— Мне достаточно лет, чтобы быть твоей мамой.

— Но сколько же тебе все-таки?

— Погляди на мои руки, — предложила ей мама. — Когда наберешься опыта, сможешь узнавать возраст женщины по рукам.

И тогда — словно впервые — Пип присмотрелась к маминым ладоням. Кожа на тыльной стороне была не такой розовой и непрозрачной, как у нее самой. Казалось, будто кости и сосуды силятся выйти на поверхность, будто кожа — вода в мелеющем заливе, из-под которой выступили неровности дна. Хотя волосы у мамы были густые и очень длинные, в них попадались сухие на вид седые пряди, а кожа на горле напоминала кожуру перезрелого персика. В ту ночь Пип долго не могла уснуть: все думала, не умрет ли мама в скором времени. Это было предвестье гранитного блока.

За последующие годы в ней развилось пламенное желание, чтобы в жизни матери появился мужчина или хоть кто-нибудь, какой-нибудь человек, помимо нее, который бы ее любил. Как потенциальных кандидатов она рассматривала то соседку Линду, тоже мать-одиночку и тоже изучающую санскрит; то Эрни, мясника из маминого супермаркета и притом вегана, как и мама; то педиатра Ванессу Тонг, которая обрушила на маму свою влюбленность в форме настойчивых приглашений понаблюдать вместе за жизнью птиц; то Сонни, здешнего мастера на все руки с окладистой бородой, которому любой ремонт давал повод для разговора о жизни и обычаях индейцев пуэбло в старые времена. Все эти сердечные обитатели долины Сан-Лоренсо заметили в матери Пип то, что и сама Пип подростком в ней увидела и чем стала гордиться: некое невыразимое величие. Необязательно братья за перо, чтобы стать поэтом, и не всякий художник что-то рисует. Духовная, медитативная жизнь матери сама по себе была искусством — искусством невидимости. Телевизора в их домике не было никогда, компьютера, пока Пип не исполнилось двенадцать, тоже не было; новости мама черпала главным образом из газеты “Санта-Круз сентинел”, которую читала ради ежедневного мини-удовольствия испытать тихий ужас перед тем, что творится в мире. Само по себе такое не было диковинкой в их долине; людей смущала, однако, исходившая от матери застенчивая уверенность в собственном величии — по крайней мере, держалась

она так, словно в том прошлом до рождения Пип, о котором она наотрез отказывалась говорить, была кем-то значительным. И то, что соседка Линда могла поставить своего сына Дэмиана, ловца лягушек с вечно раззявленным ртом, на одну доску с ее неповторимой и безупречной Пип, мать даже не обижало — это повергало ее в уныние. Что до мясника, она воображала, что навсегда травмирует его, если скажет, что даже после душа он попахивает мясом; она страдала, придумывая предлоги для отказа от приглашений Ванессы Тонг, но так и не сказала ей, что боится птиц; когда же к домику на своем пикапе с высоким клиренсом подъезжал Сонни, мать посылала Пип открыть переднюю дверь, а сама уходила в лес через заднюю. Возможность быть такой невыносимо привередливой обеспечивала ей Пип: снова и снова мать давала всем понять, что Пип — единственная, кто сполна отвечает требованиям, единственная, кого *она* любит.

Для Пип все это, конечно, сделалось источником мучительного смущения, когда она достигла юности. При этом, злясь на мать и говоря ей неприятные вещи, она упускала из виду ущерб, который материнская склонность витать в облаках наносила ее, Пип, жизненным перспективам. Никто не подсказал вовремя Пип, что закончить колледж с долгом в сто тридцать тысяч долларов по учебному кредиту — не лучшее начало жизненного пути для человека, желающего нести в мир что-то хорошее. Никто не предупредил, что на собеседовании с Игорем, главой клиентского отдела “Возобновляемых решений”, следует обратить внимание не на “тридцать — сорок тысяч комиссионных” в первый же год работы, а на размер базовой зарплаты: двадцать одна тысяча долларов. Никто не предостерег, что Игорь с его умением убеждать клиентов может ловко подsunуть неопытной выпускнице дерьмовую должность.

— Насчет выходных, — жестким тоном произнесла Пип. — Предупреждаю: я намерена говорить с тобой о том, о чем ты говорить не хочешь.

Мать испустила легкий смешок, по идее обаятельно-беззащитный.

— Есть только одно, о чем я не люблю с тобой говорить.

— Вот об этом-то я и хочу поговорить. Так что готовься.

На это мать ничего не ответила. Там, в Фелтоне, утренний туман уже, наверно, рассеялся, туман, с которым мать каждый день прощалась с сожалением, поскольку предпочитала не принадлежать к яркому дневному миру. Медитация лучше всего шла под защитой серого утра. Сейчас там, наверно, солнечный свет, зеленовато-золотой благодаря фильтру из иголок секвой; сейчас летняя жара сочится сквозь сетчатые окна на веранду, где стоит кровать, которую Пип в свое время присвоила в подростковой жажде уединения, отправив мать в комнату на раскладушку. После ее отъезда в колледж мать вернулась на веранду, и там-то она, скорее всего, и лежит сейчас, предаваясь медитации. А если так, то не заговори, пока к ней не обратишься: полностью сосредоточилась на дыхании.

— Ничего личного, не бойся, — сказала Пип. — И я никуда от тебя не денусь. Но мне нужны деньги, у тебя их нет, у меня тоже, и я знаю только один способ их получить. Только один человек на свете мне что-то *теоретически* может быть должен. Вот об этом и пойдет разговор.

— Котенок, — печально отозвалась мать, — ты же знаешь, что это бесполезно. Мне очень жаль, что ты нуждаешься, но вопрос не в том, хочу я или не хочу, а в том, могу я или нет. Не могу, так что придется поискать какой-нибудь другой выход.

Пип нахмурилась. Довольно часто она чувствовала потребность растянуть ту смирительную рубашку, в которую обстоятельства загнали ее два года назад, проверить, не окажутся ли на этот раз податливее рукава. Но рубашка неизменно оказывалась столь же тугой, как прежде. Все те же сто тридцать тысяч долга, все та же роль единственной отрады бедной матери. Поразительно, как мгновенно и радикально она лишилась свободы, едва истекли четыре вольных студенческих года. Эта мысль,

вероятно, вогнала бы ее в депрессию, если бы она могла позволить себе раскиснуть.

— Ну, мне уже некогда, давай прощаться, — сказала она в трубку. — И ты одевайся на работу. Глаз, скорее всего, дергается потому, что не высыпашешься. Со мной тоже такое случается, когда недосплю.

— Правда? — с энтузиазмом откликнулась мать. — С тобой такое бывает?

Пип понимала, что сейчас разговор затянется и, возможно, перейдет в обсуждение наследственных заболеваний, причем от нее потребуются масса лукавства; но она сочла, что матери полезнее подумать о своей бессоннице, чем о параличе Белла, — хотя бы потому, что от бессонницы, в чем Пип безуспешно пыталась убедить мать уже не один год, имеются эффективные средства. В итоге, когда Игорь в 13:22 заглянул в отсек Пип, она еще висела на телефоне.

— Извини, мама, я уже не могу, пока! — И она повесила трубку.

Игорь стоял, оставив на нее свой Взгляд. Игорь был русский — светловолосый, шелковобородый, бессовестно красивый. Пип была убеждена, что он до сих пор не уволил ее лишь потому, что с удовольствием подумывает, не трахнуть ли ее, но вместе с тем она не сомневалась, что, если бы до этого дошло, ее полнейшее унижение не заставило бы себя долго ждать: ведь у него и внешность, и отличная зарплата, а у нее — у нее ничего, кроме проблем. И еще она была убеждена, что Игорь тоже все это понимает.

— *Прошу извинить*, — с нажимом сказала она ему. — Прошу извинить за эти семь минут. У мамы проблемы со здоровьем. — Она подумала и добавила: — Впрочем, нет. Отменяется. *Не* прошу извинить. Много ли клиентов я бы успела обработать за семь минут?

— У меня что, укоризненный вид? — поинтересовался Игорь, хлопая ресницами.

— Тогда зачем ты пришел? И почему так смотришь?

— Я подумал, не хочешь ли ты сыграть в вопросы и ответы.

— Пожалуй, нет.

— Ты будешь угадывать, чего я от тебя хочу, а я буду отвечать безобидными “да” или “нет”. Прошу занести в протокол: только “да” или “нет”. Лимит — двадцать вопросов.

— Хочешь пойти под суд за сексуальное домогательство?

Игорь рассмеялся, довольный собой донельзя:

— Нет! Осталось девятнадцать вопросов.

— Я, между прочим, не шучу. У меня подруга учится на юриста, она говорит — достаточно создать атмосферу.

— Я жду вопроса.

— Как тебе объяснить, насколько мне это все не смешно?

— Спрашивай так, чтобы я мог ответить “да” или “нет”.

— О господи. Да катись ты!

— Или поговорим об итогах твоей работы за май?

— Иди, иди! Я сию секунду сажусь на телефон.

Игорь вышел, а она вызвала на экран компьютера список телефонов, с отвращением поглядела на них и снова уменьшила табличку. За двадцать два месяца работы в “Возобновляемых решениях” ей всего четыре раза удалось оказаться по итогам месяца не последней, а предпоследней на доске, где отмечалась достигнутая сотрудниками “широта охвата”. И вряд ли можно было считать случайным совпадением, что примерно с такой же частотой — четыре из двадцати двух раз — Пип, поглядев в зеркало, видела там симпатичную особу, а не ту, которая, может, и сошла бы за симпатичную, будь она не Пип, а другая девушка. В какой-то мере, конечно, недовольство своим телом она унаследовала от матери, но о том, что эти проблемы не ее выдумка, ясно свидетельствовал ее опыт с парнями. Многим она очень даже нравилась, но мало кто в итоге не задумался, что же с ней неладно. Игорь вот уже два года ломает голову над этой загадкой. Вечно присматривается к ней так, как она сама присматривается к своему отражению: “Вроде бы вчера она казалась вполне ничего, и все же...”

В колледже Пип, чей ум, как наэлектризованный воздушный шарик, притягивал проплывавшие мимо разрозненные идеи, каким-то образом подхватила мысль, что верх цивилиза-

ции — возможность провести воскресное утро в кафе за чтением настоящей бумажной воскресной “Нью-Йорк таймс”. Она возвела это в еженедельный ритуал, и откуда бы эта идея ни взялась, Пип и правда в воскресенье утром чувствовала себя более цивилизованной, чем когда-либо. До какого бы часа она ни пила с друзьями в субботу, ровно в восемь утра Пип покупала “Таймс”, шла в “Кофейню Пита”, брала двойной капучино со сном, занимала раз навсегда облюбованный столик в углу и на два-три часа блаженно забывалась.

Прошедшей зимой у “Пита” она обратила внимание на симпатичного худощавого паренька, который соблюдал тот же воскресный ритуал. Через несколько недель она уже не столько читала новости, сколько думала, как она выглядит, читая новости, и не пора ли поднять глаза и перехватить взгляд парня, когда тот посмотрит на нее, и в конце концов стало ясно: надо либо искать новую кофейню, либо заговорить с ним. В очередной раз поймав на себе его взгляд, Пип попыталась изобразить приветливый наклон головы — вышло до того механически и искусственно, что она поразилась мгновенности, с какой это подействовало: парень сразу поднялся, подошел и без смущения предложил, поскольку они встречаются тут каждую неделю в одно и то же время, брать одну газету на двоих и тем самым беречь леса от вырубки.

— А если мы захотим один и тот же раздел? — поинтересовалась Пип с долей враждебности.

— Вы начали ходить сюда раньше, — ответил парень, — поэтому первый выбор будет за вами.

После чего он раскритиковал своих родителей, жителей города Колледж-Стейшн, Техас, за неэкологичную привычку покупать два номера воскресной “Таймс”, чтобы не спорить, кому какой раздел.

Пип, которая порой была как собака, способная понять в потоке человеческой речи лишь свою кличку да пять простых слов, услышала одно: парень вырос в нормальной семье с двумя родителями и без денежных проблем.